

# Анатолий Маляров

## Сублимация

*Биография — это не то, что ты прожил, а то, что ты о себе выдумал.*

### 1. МИГАЛОВА

Мой сыщик смотрит мокрой курицей, значит, получил задание. Когда работа не предвидится, он разговорчив, самоуверен, может давать уроки криминалистики, всем своим видом убеждая, что перед вами Мэгрэ, Пуаро, в крайнем случае, один из признанных доморощенных детективов, только звездный час его впереди. Нужен случай. Когда же случай подворачивается, физиономия Игоря Корнеевича Мигалова обвисает, на глаза падает туман, и даже непредвзятому наблюдателю понятно, что в сыщики мой благоверный попал опрометью. А предвзятые коллеги знают, что устроил его на службу отец, некогда правивший спецгостиницей и выделявший на короткое время номера с услугами нужным и обязательным людям. Отец умер, однако сын к тому печальному времени успел пройти ступени от лаборанта, через оперативную группу, какой-то принудительный и

не совсем по профилю факультет, и приблизиться к самостоятельной работе по расследованию несложных преступлений. Впрочем, сложных тоже: низкая зарплата, нехватка кадров — и Фома человек.

— Инга, поедешь со мной?

При ином расположении духа Мигалов не устоял бы перед прикорнувшей на диване молодой женой с неприкрытыми коленями и распущенными волосами. Пусть шутки ради, но похлопал бы пониже талии или потянулся бы за одним из летучих поцелуйчиков, которые я легко раздавала, только бы не приставал с большим.

— Что там? — спрашиваю, потягиваясь и отводя сонный взгляд.

— Убийство. Скорее всего... Нашли девушку в перелеске. Свежий труп... Я побывал там с фотографом... и...

Когда он говорит о деле, ничего определенного понять невозможно. Вызывают сомнения даже имена сотрудников. От профессионального невежества и душевного бессилия у этого плейбоя мутится в голове и требуется опора для тела. В благодарность за роскошный быт, нажитый ловкачом-отцом и предоставленный мне покладистым сыном, я часто подставляю свое женское плечо.

— В прошлый мой отпуск мы собирались в

горы, — ворчу я для напоминания о моих нередких жертвах. — Да. А провели его в пригороде, развенчивая, а не понарошку, отмывая кооператоров.

Из моего тона он выбирает только нотки уступчивые:

— Нынешним летом отдохнем. К тетке съездим. Дел тут на три дня. Собственно, приглашаю тебя только на сегодня. Нужен взгляд со стороны, непрофессиональный...

Я знаю, что, упрекая, важно не пересолить — и заслуги не забудутся, потому спускаю ноги с дивана. Мигалов прибодряется. Снимает с вешалки новый пиджак, рассовывает по карманам бумажник, расческу, клочки страничек из блокнота с набросками его глубоких мыслей. Натягивая узкое платье, я поглядываю через зеркало на супруга и в который раз думаю: баловень судьбы! До зрелого возраста его нянчил папочка, теперь живет на всем готовом. Сорочки, отутюженные мною, завтраки, ужины — тоже на мне, квартира, поддержка отношений с приятелями — по моему расписанию и общими стараниями. На службу Игорь Корнеевич ходит нехотя, отсиживает, изводя служебное время на мелочи томления. Изредка выполняет в течение недели то, что иному специалисту мало на день. Оставь его в чужом городе без опеки, не сообразит, куда ткнуться,

чтобы не умереть с голоду, а уж завшивеет в три дня. Свеж и красив он, видимо, потому, что не растрочен.

— Вези, — пять минут спустя команду через плечо.

— С бензином туго. Тут два квартала, на квартиру к пострадавшему.

— Предупредил бы, не поднялась бы с дивана.

— Ну, раз уж поднялась.

На улице светло, тени густые, и прохожие тянутся к ним. Я еще не чувствую, но догадываюсь: припекает.

— Ты бы ввел в курс дела. Хотя бы в двух словах.

— Забил тревогу некий Юрий Гурьевич Опочин. Исчезла приемная дочь. Падчерица, по-русски, что ли.

Имя показалось мне знакомым, что-то из подсознания.

— Он кто?

— Середняк. Пару лет назад встречал его на телевидении, возглавлял режиссерскую группу. Забытый драматург. Поэт...

Я кокетливо загибаю пальчики:

— Зарплата едва на продуктовую корзинку. К сорока годам полная утрата идеалов, грешен прелюбодеянием...

— И повторным браком, — вставляет сыщик.

— Тем более, — совсем оживаю я. — Внешняя требовательность и солидность в манерах никак не согласуются с одиночеством и податливостью души.

— Погоди, не успеваю записывать, — разумеется, не вынимая вечного пера и записной книжки, на ходу язвит Мигалов.

Меня не проведешь. Щуря свои загадочные глаза и отворачиваясь, он тщательно запоминает мои предположения — отправную точку для его суждений о человеке.

— Так падчерица исчезла или убита? — уточняю со всей строгостью.

— Найдена в перелеске. Со следами насильственной смерти. Сейчас в морге. Мать в отъезде. Мы к отчиму.

В течение этого разговора мы не успеваем добраться по адресу.

Спустя еще семь минут (я чувствую, что включилась и фиксирую все, даже время в пути), семь минут спустя мы входим в зеленый, довольно запущенный дворик, окруженный четырьмя коробками девятиэтажек, минуем шеренгу гаражей у глухой стены кирпичного строения и поднимаемся в первый подъезд белого панельного дома. Звоним на третьем этаже.

Дверь открывается моментально, хотя хозяину следовало бы вначале услышать звонок, потом

отворить дверь в предбанник и лишь после этого появляться на лестничной клетке. Перед нами стоит высокий сухощавый мужчина лет пятидесяти трех, если его наружность не обманчива. Дымчатая, едва заметная седина, глубоко сидящие, но большие глаза, серые, рот напряжен, подбородок с впадиной. Легкий, скорее всего нагольный, чесучовый пиджак из кинофильмов тридцатых годов и зауженные брюки. Одежда на хозяине сидит ладно, специально сшита, понятно, чесуча — его стиль. Мне стоит усилий скрыть, что лицо его мне знакомо давно. Десятки раз рассматривала его на обложке малюсенькой книжки стихов. И запомнила. И лицо, и многие строки его. Голос слышу впервые:

— Прошу... Супруга у тещи, под Кривым Рогом. Я звонил. Собственно, телефона там нет. Заказывал, не вызывают. — Говорит заученно, затравленно, совсем плохо по сравнению с его же письменной речью. Сажу под дверь, у телефона...

Подозрение, что нас напряженно ожидали, не отходя от глазка двери, отпадает. Вступаем в квартиру. Крохотный коридорчик, справа — ванная, дальше — кухня. Прямо — дверь в продолговатую комнату, явно обставленную девушкой: плакаты Кузьмина с гитарой, двуликая Лайма Вайкуле, пушистый Чебурашка, письменный стол со стаканчиками, переполненными фломастерами, вязальными спицами, жесткий

диван, явно перегруженный шкаф. Налево из коридора — дверь в две комнаты старших. Туда и проследовали за хозяином. Уселись вокруг журнального столика, разом вздохнули с облегчением.

— Кофе? Чаю? — спрашивается Опочин с невразумительным жестом за спину и вверх.

— Не беспокойтесь, — вяло мычит Мигалов.

— Что за беспокойство! — частит хозяин срывающимся голосом, достает из приоткрытого серванта кофейник, перехватывает мой уставившийся взгляд и тоже потупляется. Словно прилипает глазами к моему лицу.

Я его узнаю. Неужели и он находит меня знакомой?

— У меня что-нибудь не в порядке? — Я с долей кокетства смахиваю с лица нечто несуществующее.

— Не то, не то, — торопливое возражение.

— Мы не познакомились. Игоря Корнеевича мне представили. А вы из его отдела?

— Более чем, — нахожу нужным пошутить, чтобы хоть немного унять волнение хозяина. — Я супруга Игоря Корнеевича.

Другой бы поинтересовался: а вы, супруга, какими кривыми судьбами оказались при следствии? Этот все превратности принимает как должное. В наше время и не такое встретишь.

— Инга Эрнестовна.

— Приятно познакомиться.

Опочин походя отодвигает тонкую штору — открывается вид крохотного кабинетика, — придерживает легкий барокан, чтобы подольше постоял перед нашими глазами интерьер скромного обиталища режиссера. Мне кажется, что он стремится показать нам как можно больше, дает возможность, так сказать, визуально запечатлеть обстановку, в которой придется разбираться следствию. Справа окно и вход в лоджию, прямо и слева стены увешаны книжными полками, по корешкам можно узнать множество пьес, сброшюрованных в книги и в папках. Не трудно догадаться, многие из них детективного характера: режиссеру в течение эдак, на глазок, четверти века пришлось поставить их на подмостках театра и на телевидении с дюжину, а прочесть в десять раз больше. Даже если он не любитель столь популярного жанра, типичные ситуации и следственные ходы запечатлелись в его воображении неволью.

Под ногами у меня коричневый с изморозью палас, утыканный фактурными елочками, верхушками к окну. Настольная лампа с треснувшим абажуром грубого синего стекла.

— Посмотрите на эту фотографию.

Следую за Опочиным в коридор. При входе из



прихожей в девичью комнату останавливаюсь перед большой, забранной в тонкую самодельную раму из старого дерева, фотографией. Поверх моей головы смотрит девушка лет восемнадцати со схваченной резинкой и фонтанчиком брошенной вверх прядью волос, темных, с вороненым отливом. Брови тугие, ровные, нос выразительный, римской лепки, губы капризно сжаты, глаза испуганные, вспышка магния явно застала их врасплох. На шее слева каплей чернеет родимое пятнышко. На теле тонкий черный купальник до того натянут, что упрямые грудки просвечиваются. Талия заужена, крепкие бедра напряжены. Руки брошены вверх и назад. За спиной зеркало и станок для занятий балетом. Отражение дорисовывает совершенное сложение и призывную свежесть девичьего тела.

— Вам не кажется, что вы смотрите в зеркало?

Несколько секунд не без надежды всматриваюсь в лицо на снимке.

— Таким образом вы хотите сделать мне комплимент?

— Ни в малейшей мере. Вы похожи.

— Это она?

Пауза настораживающе затягивается. Оборачиваюсь: не ударился ли в рыдания чувствительный отчим?

— Она. Кира. Кира Карцева. Не правда ли, вы

похожи?

— Потому вы так пристально всматриваетесь в мое лицо?

— Хотелось вспомнить ее живой.

Перемещаюсь так, чтобы стекло послужило для меня зеркалом, сравниваю наши лица.

— У меня рыжий оттенок волос. И я несколько старше. И балетом никогда не занималась.

— Кирочка с третьего класса танцевала.

Что делает там, в большой комнате, Мигалов? Направляясь сюда, он преследовал какую-то цель. Сейчас прислушивается к нашему разговору и прощупывает направление поисков. Мне хочется перейти к делу. Поворачиваюсь к хозяину:

— Дочь в морге?

— Да... — выдавливают он из себя.

— На месте преступления ее осматривали?

— Да.

— Где случилось... это?

Кажется, ответ ему дается с трудом. Похоже, отыскивать его приходится заново:

— В пяти километрах по киевскому шоссе... в перелеске...

Его не удивляет профессиональный интерес посторонней, всего лишь супруги сыщика. Наверное, не поверил, что я не следователь.

Переступаю порог, сталкиваюсь с Мигаловым,

в тесноте он кажется большим и толстым, хотя на самом деле сложен он хорошо. Собственно, сложение его меня и покорило.

— Ты не против съездить на место преступления? — спрашиваю категорично, чтобы не смял и не отклонил просьбу.

— На чем? Машину повторно не выклянчить. С бензином, знаешь...

— Мы не развлекаться настроились.

— Утром меня подбросили, хватит.

— Что за страна! — Готова добавить нечто покрепче. Сдерживаюсь.

— Юрий Гурвич, у вас есть машина?

— Машина? — снова, словно приходя в себя, переспрашивает хозяин.

— Да. Есть. Во дворе. В гараже.

— Мы могли бы ею воспользоваться?

— Эдак вскоре черт-те до чего дойдем! — ворчит Мигалов.

— Дойдем, — обидно успокаиваю я. — Пострадавшие будут предоставлять нам работу, транспорт, потом сами оплачивать следствие. Со временем перейдут на самообслуживание. Его обокрали, он и ищет. Впрочем, мы не на сессии Верховного Совета.

В моем голосе появляется неженский металл. Опочин часто мигает линиями ресницами, про себя думает, что я не только сотрудник Мигалова,

но и старше его по званию. Ведет нас к гаражу.

За распахнутой железной дверью на колодках раскорячилась походившая по жизни «Лада». Когда-то она была вишневого цвета, ныне утратила колер и лоск. Давняя ее консервация не вызывает сомнения.

— Ах! — слышу за спиной переполненное огорчением восклицание Опочина. — Я совсем заморочился. Колеса сняты.

Я обращаю внимание на приваленные к стенкам передние шины с хорошими протекторами, такие не буксуют и не скользят... Почему-то подумала, что новую резину надевают на передок, для безопасности. Оглядываюсь, задние колеса не сняты. Протекторы выглядят новыми: недавно купленные? Или вымытые?

— Поставить ее на колеса сложно? — спрашивает Игорь.

— Ради Бога! Дела на минут десять, — отзывается хозяин.

Не переодеваясь, не закатывая рукава, он принимается за колесный ключ, явно не сознавая, что и как делает. Действия машинальны, гайки сами собой садятся на резьбу, легко зажимаются, будто рука подергивается ключом, а не наоборот. Набившаяся на внутренние части дисков пыль уже просохла и осыпается в яму. Мне бы присматриваться к уликам. А я думаю о человеке,

которого узнала по стихам и впустила в свое сознание, в какой-то части даже мыслить начала его образами. Сто раз мечтала увидеть, поговорить. И вот такой совершенно непревзойденный, противоестественный случай...

Мигалов топчется в проеме ворот, похлопывает себя по ляжкам от нетерпения да еще оттого, что не видит, за что ухватиться, с чего начать расследование. Если бы он знал, как я не люблю его в такие минуты!

И правда, десять минут спустя «Лада» гудит и выкатывается из гаража. Чтобы излишне не рисковать, Игорь спрашивает:

— Юрий Гурьевич, вы в состоянии вести машину?

— Голова немного... А вы водите?

— Среди нас есть классный водитель.

От Мигалова этого следовало ожидать. На трассе за рулем он чувствует себя гонщиком, возбуждается, прижимает педаль до пола. В городской черте совершенно теряется, походит на фермера, волей случая занесенного в тройной поток машин на своей бортовой без права проезда налево, направо и прямо. Потому шофера не любили уступать ему руль. При необходимости приглашали меня.

Некогда вишневую «Ладу» из ворот тоже пришлось выводить мне. Режиссер Опочин

предпочитает сесть справа, для подстраховки, что ли. Мой сыщик довольствуется ролью попутного пассажира, которому и в разговоры вступать не с руки. Таким манером он отстраняется от дела хоть на время и тем доволен.

Если отклониться и откинуть челку, можно наблюдать лицо Юрия Гурьевича. Какая удача! Он не подозревает, что его изучают. Я не подозреваю, что интересуюсь не пострадавшим, а поэтом. Довольно густые, с легкой проседью волосы остаются такими же при любом состоянии духа. Большие, припрятанные продуманной прической уши тоже вряд ли меняются, если не краснеют. А вот высокий, с едва заметными морщинками лоб явно хмур, удручен. Если к нему прибавить опущенные размашистые брови с двумя-тремя задубелыми волосинками и онемевший, словно опрокинутый внутрь взор, не видящий или, наоборот, все разом схвативший, — портрет предстает живописный, наполненный содержанием. Человек искусства обязан быть красивым, загадочным и скрывать под внешними чертами что-то еще. И так в любой ситуации. Печально-бледные щеки со вчерашней щетиной, пересохшие, время от времени вздрагивающие губы — все это естественно для человека в его состоянии. Разумеется, с поправкой на тонкость и глубину творческой натуры. Нутром чую, ему надо

высказаться. Такая потребность в нем жива всегда, не случайно же он пишет стихи, изливает в строке то, что не реализуется в жизни, по Зигмунду Фрейду. Говорю как бы про себя:

— Слова теснятся, заполняют все существо... Художнику нужен зритель и слушатель, иначе трагедия его будет не полной.

— Вы меня чувствуете? — едва слышный шепот справа.

— Я вас знаю... — И как можно проще выговариваю его давние слова: «На юру мы нашли свою нишу. Тишина и ни зги не видать. Говори, говори, я расслышу то, что ты так не хочешь сказать».

Опочин огорошенно поднимает брови, потом глаза, находит меня в зеркальце, сгусток боли шевелится в его взгляде. Даже не верится, что в наше время находится место для стольких переживаний...

## 2. ОПОЧИН

Такая десятилетняя девчурка была вся заостренная, невесомая; диковатый, убегающий взгляд, округлый, смоляной. Я, собственно, из-за нее и женился на Надежде Леонидовне.

В то лето я скитался по частным квартирам. Официально — супруга прослышала о гастрольном

моем романе, который, впрочем не состоялся, как ни кружилась хищница над моей ушедшей в плечи головой. Сплетницы, возвратясь домой, прихвастнули: нашлась одна — свалила стойкого... А жена моя, прознав, присовокупила легенду к моим бесконечным мелким провинностям — вечное отсутствие в доме мужчины, материальные недостатки, странности натуры моей, — присоединила эту «непростительную измену» и выставила меня за порог вместе с моим бездонным, полупустым чемоданом. Знаете, есть такие баулы, похожие на меха гармони. Мой был желтый — символ разлуки. На пару месяцев прижился у коллеги, который кстати уехал на учебу и оставил мне однокомнатную холостяцкую хижину. Пока была семья, ограничения, обязанности, подворачивалось немало нехитрых любовных возможностей. Получив свободу, я вдруг понял, что одинок, никому всерьез не нужен, даже виновница моего развода предпочла скрыться за пределами видимости. Я поселился в мире для одиночки.

На окраине города, где я обитал, однажды в полуподвальном магазинчике, в очереди из пригорюнившихся и обношенных старух, не поднимая глаз от пола, я вдруг увидел тугие икры из-под элегантно ниспадающего шелковыми складками подола. Делая вид, что меня интересует содержимое витрины — вонючая треска,



пережженные куры, мельче мелкой тюлька, — я заглянул в лицо стоявшей впереди невысокой женщины. Остроносое, припудренное, подкрашенное, с налетом застарелой усталости, однако осмысленное и моложавое. Вернувшись в очередь, я привычно понурился. И снова увидел великолепные, тренированные ножки. Если к концу дня женщине можно было дать под тридцать, то ноги были девичьими.

— Почем нынче колбаса?

— Где вы видите колбасу?

— Хотелось бы видеть.

— Приходите завтра.

— А вы и завтра займете очередь для меня?

Остроумие не совсем светское, но голоса наши невзначай слились в дуэт, когда мы высказали еще несколько веских суждений и уважительно засмеялись. Она взяла свою покупку, я ничего не стал брать, вышел вслед за нею.

Оказалось, живет молодая женщина через дорогу на этой же глухой, дивно поросшей кленами и платанами слободке. Снимает комнату с черного хода у дряхлой пары с козочкой и двумя кошками, которые, собственно, и являются хозяйками укрывшегося за пятиэтажками домика.

— У вас не намечается день рождения?

Она уставилась снизу вверх своими миндалевидными, черными, скорее, смородинными

глазами, встряхнула вороненой челкой и тем самым одобрительно откликнулась на мою придумку. Я осмелел:

— А то у меня заваялся симпатичный кулон прямо к вашему платью.

Кулон я видел в магазине-салоне «Ярославна», выкупить его у меня не было денег, однако почему бы не пошутить?

— Приносите в очередь. Ровно через три дня.

— Отпразднуем совершеннолетие...

— Прощанье с молодостью. — Женщина прощально усмехнулась, прогнала кое-как усталость и слегка урезонила меня: — Спасибо за прекрасно проведенное время. Однако мне пора.

— Супруг ждет?

— Ваша прямота подкупает.

— Черт дергает за веревочку. Наверное, сказывается одиночество.

Отойдя более двух шагов, она обернулась:

— Дочка после школы проголодалась. Не ест, пока не приду с работы.

— У вас дочь?

— И довольно ранняя.

Меня и впрямь подталкивал бес, иначе так рьяно я не набивался бы:

— Отдыхайте. Я подойду к двадцати двум. Подышим перед сном.

Она пришла без опоздания. Запросто,

обыденно, можно было подумать, что сошлись мы на привычном для нас тротуарчике в сотый раз, не сговариваясь, свернули в сквер с пересохшими фонтанами — эдакими давно знакомыми шли и болтали, с середины устоявшихся отношений.

Три дня спустя и правда был ее день рождения. Я приготовился к долгим уговорам провести торжества вдвоем и у меня. Мол, и квартира изолированная, и стол на мне, и кошки не будут ходить по столешнице. Предложение было принято в первом чтении и без поправок. Я даже насторожился: не привычное ли дело для деликатной и теплой женщины посещать малознакомых мужчин? Впрочем, инициатором была не она. И запросы мои не отличались возвышенностью.

К концу дня я встретил Надежду Леонидовну у подъезда ее объединенной бухгалтерии, чтобы не позволено было ей передумать, принялся намекать, что обещанное кольцо у меня в кармане (знала бы она, в какие долги я влез), женщина мягко улыбнулась неожиданно молодой, белозубой улыбкой и сказала, что прежде надо зайти в Дом культуры глухонемых забрать дочку.

— У нее что, слух?..

— Упаси Господь! Там концерт, она в детском танце участвует. Развлекает местных детей.

— Сама она домой не доберется?

— Это ее первое выступление, я обещала посмотреть. Пожалуйста.

Маленькие несчастья порой оставляют сильное впечатление. Из третьего ряда я наблюдал, как десятилетние, вытянутые в струнку, одетые в красочные пачки девчурки выбегали из-за кулис. Музыка убыстряла темп. Ради участия я спросил мою спутницу: которая же ее? Она не расслышала или не захотела ответить. Я пробовал догадаться без посторонней помощи. Первая в ряду? Рослая, с точеными ножками. Вряд ли, мама небольшая, и вообще, слишком явная удача иметь такую дочку. Вторая? Красавица! Вдруг последняя в ряду малышка, тощенькая, состоящая из одних суставов, собственно, я видел одни цыплячьи коленки, — эта крошка неуклюже подалась в сторону, зацепилась за кулису и упала на авансцене. Танец продолжался, а она посидела, поплакала, размазывая неуместный на ее личике грим, потом упрямо вышла на середину сцены и включилась в хоровод. Подказали из-за ширмы, сама ли догадалась, но поступила единственно правильно. И в движениях выглядела не хуже подруг.

— Молодец! Все-таки молодец! — тихо прокричала моя дама. — Это Кирочка. Первый танец и первая неудача.

Боль матери передалась мне. Я пригласил девочку поужинать с нами. Стола в квартире

коллеги не было, мы сняли верх с обширного пуфика, в два этажа поставили скромные блюда, включили цветной телевизор (тут же было сказано, что на квартире с козочкой едва светился черно-белый), поднимали тосты то за маму, то за дочку, удачно вышучивали и упрощали мелкие творческие неудачи. В конце концов, кольцо из недорогой поделки было водружено на тоненькой шее Кирочки, а ночевать я остался один. Мои траты в кредит себя не оправдали.

Далеко за полночь, лежа на продавленном диване, я думал почему-то не о маме, интересной собеседнице, заряженной на остроту, боящейся своих почек, желудка, щитовидки, однако белой, слегка загорелой, без единой морщинки на лице, с детскими гладкими ручками. Я думал о худенькой девчужке. Она сегодня пережила драму. Видимо, желая развить Киру физически, мама отвела ее в танцевальную студию. К первому в своей жизни концерту Кира готовилась с трепетом. Пригласила маму, та решила привести умного дядю, деятеля культуры. А что вышло? Срам и слезы. Девочка тощенькая и слабая оттого, что живет на чужой квартире, ест что Бог пошлет, внимание матери больше уделяется ее дневнику. Это объяснимо. Надежда Леонидовна очень молода, самой хочется отвлечься, расслабиться после восьмичасового сидения за бухгалтерскими расчетами, сходить в

компанию хотя бы одного, пускай малознакомого, человека. Зарплата не позволяет особо тратить на одежду-обувку дочери. В семье привыкли к нищете... Так я размышлял, вздыхая не от несостоявшейся любовной встречи, а от сострадания к обездоленной девочке.

На следующий вечер мне удалось перехватить Надежду Леонидовну у крана в кленовом дворике и заманить «на телевизор». Как-то обреченно, вместе с тем тепло и ласково она легла в мою постель, с запоздалой слезой предупредив, что до ужаса боится забеременеть. Организм ее настолько слаб, что после аборта она долго болеет, а хворать ей нельзя, на ней ребенок.

Больше она не плакала. Улыбчивость, отклик на мало-мальски стоящую шутку, покорное безразличие к сексу — вот штрихи ее характера, замеченные мною в тот вечер. Об огорчении дочери не стала распространяться:

— Не будем приписывать Кире лишнего. Всплакнула она только от боли. Иначе не пошла бы сразу танцевать.

Думаю, мать не допускала, что у десятилетнего ребенка уже сложные отношения с жизнью. Так безопасней.

Два дня спустя, перед сном, мы прогуливались уже втроем. Девочка держалась за руку матери, отставая и прячась от моих обращений

к ней. На вопросы отвечала коротко: да, нет. Если удавалось, переадресовывала вопрос матери. А Надежда Леонидовна держалась настороженно и вместе с тем довольно откровенно.

Мало-помалу, из отрывочных рассказов ее, из собственных наблюдений, я составил некоторое представление о ее жизни. Очень молодая и привлекательная женщина томилась одиночеством и бедностью. Кто-то ее надоумил, а может быть, своим разумом дошла, что есть проверенный способ для одиноких и красивых представительниц слабого пола неплохо прожить в этом мире хотя бы один месяц в году. Стоит только переступить через себя. Достать модный купальник, а если животик втянутый и с милой ямочкой на пупке, как у нее, то лучше бикини, далее, два-три пляжных сарафана, привести свой вес и макияж к модным в данный сезон кондициям и выплакать в местном путевку на курорт позаковыристей. Там мобилизовать все свое остроумие, шарм, выбрать кавалера тщательно, не столько по возрасту и вкусу, сколько по недостаткам и уровню культуры. Вести себя неназойливо и корректно женщина явно умеет, дано от природы, начитанна, терпелива и не лишена вкуса. Есть еще расточительные мужчины от сорока до пятидесяти лет, которые избирают напарниц помоложе и тратятся без оглядки. Ничего предосудительного нет в том, что люди взаимно

дарят друг другу то, чего им недостает в обыденной жизни. Пускай их! Иоанном Златоустом сказано: «Не столько заботится дьявол о том, чтобы не грешили, сколько о том, чтобы не видели греха и оставались грешниками».

А тут все уравнивается. После сладкого месяца на южном берегу Крыма приходит прежний быт с линючими кошками, завтраками не по аппетиту, вселенской тоской. И восемь часов за арифмометром. Это все слегка разбавлялось шикарным платьем, сумочкой, часиками, тем, что оставляли на память курортные сластолюбцы в благодарность за самоотверженность.

Маме летом было хорошо. А каково дочке? Пока здорова была бабушка в деревне, ее отправляли туда, на подножный корм, то есть ворованное с фермы молоко, черствые пряники из продуктово-хозяйственной лавки и недозрелые фрукты с соседской ветки. И то же одиночество, детское, пожалуй, самое тяжелое. Когда же бабушка заболела, приходилось четырехлетнюю, потом пятилетнюю девчущку брать с собой. В санатории по вечерам оставлять с чужими, менее удачливыми в любви тетями. Случалось, дитя каким-то чудом к полуночи приходило в ресторан, и визит этот был весьма предосудителен: дочь мешала маме трудиться для ее же блага. После улыбок, нежных слов на публике, угощений с



барского стола девочку отправляли в корпус, наказывали и препоручали другой, более надежной старухе. И покидали. Жаль дочь. И мать жаль.

Ради Кириного будущего мать внутренне соглашалась на один из выгодных вариантов замужества. В двух-трех случаях, уже в последний момент, останавливалась: хотелось чего-нибудь и для себя. Чтобы жених выглядел интеллигентно, чтобы приятно было показаться с ним на людях. Уж что касается постели, Бог с ним, дежурная любовь до того притупила желанья, что вряд ли кому из сильных мира сего удастся их пробудить. Выпадали претенденты с достатком, однако с изъянами. Носки слышны за версту, жировые валики непомерны, сопение одолевает не только в ночи, лысина... Запросы Надежды Леонидовны вступали в противоречие с ее возможностями, мешали ее счастью. Приходил по всем внешним меркам пригожий претендент, начинались переговоры. Тут обнаруживалась такая бездна тупости, не перепрыгнешь даже в два прыжка. На языке только доходы от халтур да леваков, выпитые цистерны спиртного, благовые дружки. И ни намек на Скрябина и Костенко, на шелковые песни Карпат и рейсы на Адриатику, про которые молодая женщина наслушалась на пляжах от бывалых капитанов, от интеллектуалов, двумя поколениями старше нее. Не соединимы в жизни богатства души

и тела. Надежда Леонидовна отвергала и ждала, вернее, искала. Случались мужчины мечты. Увы! Были заняты, либо предпочитали спутниц повыше ростом да с достатком. Чаще всего имели жен, протоптавших дорожку в парткомы и суды... Женщина нервничала, теряла веру в собственные возможности. Казалось, время ускользает, уносит молодость.

Мама сражалась на житейском поле брани, а дочка росла особняком. То сытно было, то голодно, то модно, то сиротски, и — одна.

После недолгих колебаний я постучался в квартиру Надежды Леонидовны. Слева раскидной диван, справа — вдруг! — пианино. На старинном, огромном и низком, окне — засилие цветов, света Божьего не видно. Присмотренные, подвязанные и подкормленные. Для одного горшком служил трухлявый пенёк с выдолбленным гнездом на месте сучьев, из недр пня вырывались сочные побеги с соцветиями наверху. Два прочных стебля выходили из камня-ракушечника, набитого свежим грунтом и разомлевшего в теплой сырости. Декорации! Придумки бедной, но талантливой природы. Половицы покрыты древними, полинявшими, но широкими, от стенки до стенки, дорожками, явно знавшими проказы годовалого ребенка, однако отмытые и подштопанные.

Позже выяснилось, что в малой семье

Карцевых был еще один источник доходов. Кирина бабушка, сравнительно молодая и одинокая учетчица на молочной ферме под Кривым Рогом. В ее обязанности входило всякое лето готовить даровую консервацию овощей и фруктов, выплачивать также рассрочку за пианино, которое вскоре послужит культурному росту внучки. Вменялось еще, в случае аварии с очередным претендентом на руку и сердце дочери, приезжать с утешениями, хозяйничать, разумеется, прихватив с собой, сколько можно, денег, сала, сушки и прочих припасов на зиму. Подвальчик, прямо под дорожками и под нелепым люком, был всегда, сказать поточнее, непустой. Откуда бабушка брала средства для помощи? Да все с той же фермы. И не со сторублевой зарплаты, а от ежедневной бутылки парного молока, еженедельного шувала кормов, от обмена товарами с доярками и пришлыми держателями поросят. Начальство особой строгости не проявляло, пускай, только бы буренки кое-как выдаивались, бычкам задавалось на ночь да не бунтовали скотники, видя оголтелое, крупномасштабное воровство власти предержавших. Может быть, в тогдашней экономике такое сосуществование было самым рентабельным и стабильным. Но я столкнулся с ним впервые и, благодаря империям, в которых витал всю жизнь, благодаря святому дурману искусства, я почел

жизнь Надежды Леонидовны нищенской и ненадежной. Кирино детство — тоже.

Вернулся из столицы мой коллега, пришлось освободить жилище. Приют я нашел на противоположном конце города: до центра, то есть до телестудии, полчаса троллейбусом, плюс пешком минут десять. А уж до флигелька с козочкой и кошками совсем не с руки. Наша связь была обречена. На беду, у новой хозяйки оказался телефон и в ближайший вечер меня разыскала colega, недавно покушавшаяся на мои нравы и стараниями которой я находился во взвешенном состоянии.

— Как там? Миновали грозы?

— А ты отсиживалась за забитыми ставнями?

— Я слабая женщина.

С моей стороны никаких предложений не последовало. Пауза грозила стать нетелефонной. Она была и впрямь слабой:

— Ты где приземлился?

— Сейчас спрошу у хозяйки.

— Далеко зашел!

Тоном интеллигентной женщины, обиняками она пробовала навести меня на мысль о нынешней полной свободе, о возможности встречи даже на людях. Получилось у нее все это по всем правилам драматургии, я обязан был откликнуться. Если уж взвешивать все про и контра, то она — партия, куда

выгодней, чем Надежда Леонидовна. Женщина без довеска. Но тут-то и зацепка! Довесок не давал мне покоя. Оставить пичужку на волю судьбы — что станется с нею? Мамин пример добывания минимальных благ, крохи, которые приносят в клювах случайные покровители, чувство обузы... А если в сухоньком теле прорастает тонкая, творческая душенька!? Идеалы ее разлетятся вдребезги, еще не родясь. С пятнадцати лет пойдет по рукам, «на хату», «на откинутое сиденье»... Господи! Можно ли такое допустить? Справедливо ли с моей стороны?

Вот о чем думал бывалый прохиндей, выдерживая паузу у телефона. Отвечал обтекаемо и отдаляясь:

— Заблудился. Сориентироваться бы. Нужен лучший лекарь — время...

### **3. МИГАЛОВА**

У перелеска Опочин теряет дар речи. Ерзанием и жестами силится указать место преступления.

— Там сыро, забуксуем. — Спыхватывается, совсем подавленно добавляет: — Впрочем, теперь я всего боюсь. Подъезжайте, как знаете.

Мигалов настолько переложил все труды-заботы на хрупкие плечи супруги, что вряд

ли соображает, куда и зачем мы приехали. Встретит Юрий Гурьевич снова:

— По колее «бобика», который утром...

Его фраза обостряет мое зрение, вижу невидимое: несколько левее, огибает чахлую рябину след, примята жесткими протекторами трава. Если выйти и окинуть местность открытым взглядом, ничего не заметишь, сквозь ветровое стекло — вижу. Стекло как бы фокусирует заряд неулечившейся росы. Дальше стебли выпрямляются и стряхивают с себя всякие улики. Я направляю «Ладу» параллельно невидимому следу. Через десять-двенадцать метров, — фиксирую с точностью компьютера, — вижу песчаную ямку с провалившейся и тут же вынырнувшей колеей. Ветвистые сосенки и дикая трава сберегают утреннюю прохладу. Набежавшая тучка гасит теплые тона. Рошица прячется в легкий туман.

— Где? — спрашиваю Мигалова.

— Справа, за кустами шиповника.

Выхожу. Аккуратно, не наступить бы на чужой след. Отяжелевший, занемевший Опочин не может отклеиться от сиденья. Игорь Корнеевич смотрит в сторону и похож на застекленный горельеф. Напрасно я аккуратничаю, за кустами насвинючено так, как могут насвинючить только наши доблестные пинкертонеры. Роптать и делать внушение — мартышкин труд. Следующее

преступление вряд ли будет совершено в этих пределах, а в другое место придут другие сыщики и сотворят с картой злодеяния то же, что Мигалов и его помощники. Впрочем, и этот, и те плохо воспринимают дельные советы. Пребывая замужем за одним из наших детективов, я прихожу к выводу, что этот народ куда больше переваривает в мозгу данные о головокружительной карьере сына такого-то генерала, о новой «хате», которую снял для своей очередной пассии начальник планово-финансового отдела, профессиональный бабник, поставивший на службу сему ремеслу должностные оклады, премии, отпуска, коими распоряжается... В общем, личные достижения и ущемления занимают Мигалова и иже с ним куда больше, чем судьбы, души, нравы потерпевших и преступивших.

— Сидите на месте, — команду полковничьим голосом.

Ухожу по загадочной колее к кустам. Охватываю взглядом разом всю полянку. Чувствую мелкую дрожь в конечностях, во всем теле. Перестаю владеть собой. Некий гомункулус, инопланетянин или вечный землянин, существующий, по новой науке, параллельно с человеком, но не воспринимаемый им, в общем, кто-то обладающий более сильной волей, чем я, оплодотворяет мою мысль, руководит всяким моим

шагом. Я потеряна в роще, беззащитна, нема перед истиной. Что есть истина, я не знаю, но что ложь — мне дано видеть.

Оборачиваюсь, за мной стоят две похожие фигуры. Скисший Мигалов, который так надеялся на мои содержательные, недоступные ему догадки, а видит пустую трату времени, забаву преуспевающей домохозяйки, которой, скуки ради, иногда удается подбросить супругу дельную версию, но сегодня, видимо, удачи кончились. Эту физиономию можно не брать в расчет, я ее исключаю. Со зла говорю штампами:

— Не будем искать черную кошку в темной комнате, заведомо зная, что ее там нет.

Сказано только для Игоря Корнеевича. На Опочина смотрю пристально. Обмякшие плечи, потемневший лоб, побледневшие губы.

Ему повторяю свою сокровенную мысль:

— Что есть истина, я не знаю, но что ложь — мне дано видеть.

Мигалов тихо бесится:

— Ты зачем сюда приехала?

— Хотела видеть себя в лесном пейзаже.

— Завтра будут отстреливать остроумцев, приходи.

— Я по Горацию живу: каждый нынешний день для меня последний.

Красиво выражаюсь я не для мужа, но для



достойного слушателя, Юрия Гурьевича. Получается старо и линяло. Продолжаю сухо:

— У кустов не было борьбы. В утреннем полусвете три болвана натоптали, переминаясь с ноги на ногу, порушили всю картинку. — Тычу пальцем в обувку Игоря: — Подними копытце! Это же твои следы.

— Почему ты не интересуешься, как она лежала?

— Этим поинтересовался ты. И зафиксировал на фото. Даже знаю, сколько снимков ты мне покажешь...

— Забавляешься!

— Недооцениваешь, милый. Кое-что проясняется.

— Цумбайшпиль? — чтобы больнее лягнуть, он спрашивает по-немецки.

— Преступление совершено не здесь. Сюда жертву привезли.

— Скромные достижения. Неплохо бы узнать, кто привез?

Молча сажусь за руль. Мужчины тоже возвращаются на свои сиденья. Воцаряется тишина. Солнце припряталось надолго, на стекла наползает тонкая дымка. Без труда вспоминаю давние строки Опочина. Повторяю вслух: один поймет, другой, тот, что сидит сзади, не догадается, что к чему и зачем:

— Туман над землею, туман, не видно, куда нам и где мы. Еще одна к нашим проблемам, которые сводят с ума... Туман над землею висит, за стеклами света не видно. Еще одна к нашим обидам, чтоб плакать над ними навзрыд... Туман над землей, не видать в тумане ни черта, ни брата. Еще одна к нашим утратам. А думали, что нам терять!

Поднимаю глаза на зеркальце. Оттуда на меня вступились серые, замуленные глаза Опочина. Пауза.

— Юрий Гурьевич, у Киры были враги?

Он долго осмысливает вопрос. Отвечает глухо, тоже как бы спрашивая:

— Оставленный муж...

## 4. ОПОЧИН

Как-то сразу пришли холода. Я просыпался среди ночи в уютной комнатухе под толстым одеялом, покручивал крохотный приемничек, переносился на Африканское побережье и слушал тамтамы либо вникал в подробности интимной жизни старой английской знати. Расширялся кругозор, я признавал себя участником масштабных событий. Никто не смел упрекать меня за ночные бдения. Утром ожидала короткая планерка в телестудии, кое-какая репетиция с техникой, даже

завтракать и менять сорочку не обязательно.

Повседневные, неизбывные счета с техниками телецентра, с опохмелья вернувшимися с командировок съемочными группами, письменными и телефонными жалобами трудящихся на отставания областных программ от столичных, переливания из пустого в порожнее на политучебах, подмены в постановочных группах, вытаскивание носа, когда хвост увяз, и наоборот, — это организационная работа главного режиссера телевидения. К тому же надо свои программы делать получше, чтобы иметь право поучать подчиненных, чтобы числиться классным специалистом и не дать повода к изгнанию. Оснований избавиться от меня у руководящих партийцев больше чем достаточно: вольнодумец, занимает номенклатурную должность, а не член их партии. И выжили бы, да вот беда: человек делает вещи, которые берет первая столичная программа, не пьет, полсуток вертится на работе, не путается с сотрудницами. А что поговаривают об отпускных поездках с театром города на гастроли и прегрешениях с актрисами, дак не пойман — не вор...

Плетется в полусонном мозгу Бог знает какая канитель. Хуже, когда вдруг перед глазами всплывает родина. Патетика и блажь, но ведь серенькая, не озаренная софитами, не

прихорошенная, обыденная. Замордованный хлебороб, пьяный рабочий, налоги невесть на что. Земли своей люди не имеют, мастерских, тем более мануфактур — тоже, получают едва ли пятую часть заработанного. И относятся к делу по мудрости: они думают, что они мне платят, пусть они также думают, что я им работаю. Идет подспудная, глухая и остервенелая война между бесстыжими злодеями-властями и забывшим Христа народом. Исповедимыми путями и те и другие пришли к бутылке. Одни в шикарной закупорке и по госцене, другие в случайной посудине и по стоимости сахара, дрожжей и прочего, из чего можно сотворить благо.

Кто страдает от такой войны? И таких утех? Старики, женщины, дети. Улетучивался душевный комфорт, утрачивался интерес к далеким берегам и высшему свету, даже ропот приемничка уши переставали слышать. В закупоренной и утепленной комнатухе появлялся сквознячок. Я думал о покинутых, о матерях-одиночках. И о Кире.

Дожидался шести утра, на цыпочках пробирался на кухню, нащупывал одну из пустых литровых банок с крышкой, бидон с гнутой ручкой и спускался к молочнице, пока пролетарии не расхлюпали по бездонным сосудам молоко, с которым в стране бесконечная «временная напаяженка». Наполнив бидончик и, о, удача!

прихватив сметаны, прыгал в трамвай и к семи, по моему предположению, к побудке царапался в глухую дверь с черного хода, под которой уже дежурили ночные гулены, черно-белые кошки, про которых я уже знал: Соня рожала три раза в году по два-три котенка, Сима два раза по четыре. Открывала дверь и тут же ныряла под одеяло девочка.

Картина в обставленной цветами комнате являет собою безотрадное зрелище. Валетом на диване лежат мать и дочь. У старшей на голове потертое махровое полотенце, поверх одеяла вылезший пуховый платок, младшая прикрыта детским одеялом. Девчурка выросла из него, потому ежится, сворачивается клубочком. Хозяйка так рано не включают газ, потому в жилище гуляет ветерок.

— Это ты?

— Я! — как можно меньше обращая внимания на стонущий, вымороченный голос Надежды Леонидовны, с наигранной бодростью отзываюсь я.

— Так рано. Можно еще пятнадцать минут поспать.

Самое близкое для нее — прерванный на несколько минут раньше сон. О том, что есть ретивцы, вскочившие ради нее значительно раньше, что без этого пришлось бы отпускать дочку в

школу с сухим бутербродом в портфеле, да и самой завтракать не так, как хотелось бы по ее же оздоровительному режиму, она не думает. Только дополучить предельно возможное от сна! Каприз, запроси не по возможностям. Это даже мило, добавляет ей шарма.

Внутренне не соглашаясь с таким характером, я не могу укротить свой энтузиазм. Отстраняю блеклую, в декоративных или застиранных разводах штору на окне, бегу на кухню, общую со стариками-хозяевами, любезно и обожающе приветствую их в это лучшее из утр, настаиваю на том, что выглядят они заметно лучше, чем вчера, и включаю обе горелки. На сковородку разбиваю яйца, в кастрюлю выливаю молоко, на дощечке не режу, а шинкую остатки батона. Напеваю. Я обязан вносить оптимизм и движение в эту угарную, отупляющую и дремотную хижину.

Через десять минут за столик усаживается Кира, грациозная, медлительная, пахнущая чистотой. Проводит тощими ручонками по складкам юбочки, подгребает ее под колени, берет вилку, чашку. Она никогда не говорит: «Я не хочу есть», хотя ест мало, вяло, без малейшего аппетита. Знает, что если не съест, что подали, не подадут ничего. Она вообще не разговаривает, тем самым давая волю моей фантазии. Я придумываю самые глубокие, короткие и поэтичные реплики, даже

рифмую. Не произношу их вслух, чтобы не смущать Киру. Она настолько мудра в свои десять лет, что понимает меня без слов, знает, что я догадываюсь о ее желаниях. Я от природы и в силу профессии говорлив, потому мне мило молчание крошки. Взгляд ее тоже редко удастся перехватить, жестов она избегает, движения самые необходимые. Я не понимаю, какими средствами мы общаемся, но взаимопонимание у нас полное. Я подаю, она ест, я заглядываю украдкой в ее остренькое, с туго забранными за уши черными волосами личико, она затылком, щечкой чувствует тепло моего взгляда. Я убираю, она поднимается и неслышно уходит. Не благодарит, думаю, не оттого, что не приучена, просто знает, что я чувствую ее благодарность. Как же может быть иначе? Зачем лишние слова? Вдогонку поправляю помочи рюкзака на тощей спинке, улыбаюсь в темный коридор. Умница, за все утро не высказала ни одного каприза, не обеспокоила мать. Не отдаю себе отчета, что в девочке я узнаю своего сына. В ее возрасте он был росленьким, крепким, сам себя обихаживал, однако так же молча и сторонкой принимал заботы отца-матери о нем, отворачивался от неурядиц и разногласий в семье. Был другим и таким же. Но это — из подсознания.

— Я еще немножко полежу... Ты не хочешь?  
Я наигранно встряхиваю головой:

— Ба! Да в этой постели женщина! И есть еще несколько превосходных минут!

— Полежи, только без этого. Не срок. Я потом подсчитаю, кажется, через неделю можно...

Думаю, это одна из причин, почему мужчины здесь долго не задерживались.

К концу дня Надежда Леонидовна устает в своей бухгалтерии. А тут еще покупки тащить. «Руки отваливаются, — говорит она по телефону, — килограмма полтора, а то и два будет в сумке». Говорит и не шутит, не ее изнеженному телу тащить вьюки. Ей слегка не по себе. Не то почки, не то кишки, не то хандра. Просит меня забрать Кирочку от учительницы музыки. «Тебе это по пути, между репетицией и передачей. Прогуляйтесь на воздухе». Мне это не по пути, придется отказаться от похода к коллеге, от мелкого скандальчика и моего обещания помочь своим по службе. Но что-то принуждает меня соглашаться и идти через обглоданный и порытый рыбаками в поисках червей скверик к дому тапера. Ждать девочку.

Киваем друг другу. Собственно, киваю я, она принимает кивок. За руку не беру, объяснить, почему, не умею. Боязнь поранить нежную кожицу? Смешно. Признание чуждости, отсутствие родительского права? Нежелание изменить своему единственному взрослому далекому сыну? Тот с



женой и малышом скитается по квартирам за полтысячи верст от меня, разрывается между дневным и вечерним институтами, дежурит по ночам и убирает дворы, чтобы прокормиться и пробиться в люди, а я посылаю треть своей жалкой зарплаты ему и тем отделяюсь... И это не все, что стороны меня от Киры. Да простится мне, присутствует некое преступное чувство брезгливости. Дурь да и только. Чистая, здоровая, благоухающая свежестью девочка, а вот клубится нечто необъяснимое в моих неустоявшихся чувствах, мучаюсь. И взять за ручку — надо переступить через что-то, и не взять — надо себя пересилить. Так и идем молча, погруженный каждый в свое. Она, может быть, в звуки недавно исторгаемых ею гамм, а я в мой внутренний монолог. Побеседуем немо и будем довольны.

— В школе все нормально? — Должен же старший проконтролировать.

Смутный матовый лобик хмурится, круглые, смородинные, как у мамы, глазки касаются меня и тут же уходят в сторону. Можно понять двояко. Либо: не наступайте на больную мозоль, вы мне не отец! Либо: как же может быть иначе? Нормально. Второе лучше, чем первое, на том и сходимся. Продолжаю говорить за себя и за нее.

Дома едва успеваю передать с рук на руки матери, бегу на телестудию. Чувства смешанные:

вроде бы выполнил важную миссию и вместе с тем от чего-то по-быстрому отделался.

Не сказать, к чему бы привели такие неудобоприятные и необязательные отношения, если бы, как выражаются в старых пьесах, провидению не было угодно обрушить потолок в старой избушке. При десятиградусном морозе в сонный вечер, когда девчонка задержалась на танцах, а я собирался воспользоваться благоприятно расположенными на одном из бесчисленных гороскопов Надежды Леонидовны планетами, упала большая часть штукатурки с потолка продолговатой, заполненной цветами комнаты моих подопечных. Клубами перемещалась известковая пыль, хоть не поднимай голову, скудная мебель и тряпки смешались с глиной и белилами, зияли гнилыми челюстями дранки, из всех щелей поползла сырая вонь и почему-то гарь.

Надежда Леонидовна — женщина нервная. От внезапного грохота, лавиноподобного падения, заставшего ее на пороге, она сильно испугалась. «Еще секунда, и я бы ступила под обвал!» Потом плакала, неутешно, привередливо, сердешно. Я подоспел с кухни.

— Завтра найдем штукатурка.

— В такую-то холодину? Кто пойдет?

— За хорошие деньги пойдут.

— У меня нет не только хороших, но и

ПЛОХИХ.

— Надежда!

— Молчу, молчу...

Она всегда виновато уступала мне. Правда, как правило, в тех случаях, когда объективно это было весьма выгодно ей. Простительная слабость для женщины. На ее месте я поступал бы так же. Но я — мужчина, надо заботиться.

— А где же перебыть нам с дочкой? — И новый прилив слез.

— Нет проблем. Гакуна матата, как говорят зулусы.

Я уже переломил себя, изобрел способ оплатить временное поселение целой соломенной семьи у моей хозяйки, потому был великолепен:

— Сколько нужно будет, поживем у меня.

Две недели продолжался ремонт, то не хватало цемента, то маляр запивал. Мы жили у меня. Красиво жили. Надежда Леонидовна умеет ублажать нужных людей. Навела порядок в не очень опрятной квартире хозяйки, одарила ее совершенно ненужной кофточкой. Умудрилась попутно изъять отпуск на работе. А уж бездельничать она умеет по-царски. Будь у нее муж с хорошими доходами, она с удовольствием перешла бы в домохозяйки, уют и привет были бы обеспечены. Попутно летучий поцелуйчик, даже в локоть, уместное слово, только бы не доходило до

полного удовлетворения: «Через меня брюки переброшь — я уже беременна. И старит все это».

У Кирочки прохудилась шубка, мама высмотрела в магазине, намекнула, что возьмет в рассрочку. Я кабалой пренебрег, оплатил. Похожее было с сапожками для ребенка, их я с некоторым напряжением выкупил, и с шикарными итальянскими сапогами для матери, что прошло уже по проторенной дорожке.

Девочка спала в светелке на квадратном, времен Ноя, диване, а мы с ее мамой привыкали к общей постели. Пить мне запрещалось. Вместо рюмочки или хотя бы кофе с коньячком мне предлагалась заваренная травка. Моя дама лечила свой здоровый желудок, неплохо и мне подлечиться. Профилактика здоровья, продление молодости, которыми она занималась по литературе, телевидению, радио и советам специалистов, распространялись исподволь и на меня. Если у нее чесалось под мышкой, она тут же задирала мою руку и смазывала сначала мои здоровые телеса, и уж заодно — свои. У меня появились содержательные прогулки: на рынок, в ряды собирателей трав, по аптекам, вечером на свежем воздухе, утром в скверике, с бегом трусцой и бадминтоном.

Благотворительность моя продолжалась, тайный долг на телестудии, в театрах и газетах

заметно возрастал. Как понимала мои щедроты Надежда Леонидовна, не могу знать. Скорее всего, меня она поставила в один ряд с каким-нибудь курортным толстосумом и доила, как временную коровку. Иногда поощряла весьма странным образом. Проговаривалась, что, случалось, в течение одного сезона на нее тратили сумму, какую я никогда в руках не держал. Забавная женщина, непосредственная, искренняя. Как-то проснулась утром в слезах.

— Мне надо провериться.

— Никак от святого духа забеременела?

— Ах, совсем не то.

Рядом с кроватью лежал журнал «Здоровье», развернутый на статье о СПИДе, вечером она ее изучала.

— Может, у меня эта штука...

— От меня, что ли?

— У меня был капитан дальнего плавания.

Бывший...

Я вдруг расхохотался. Она опешила:

— Поясни.

— Это ты мне поясни. — Я не мог остановиться, начиналась икота. — Поясни, как ты можешь совершенно не считаться со мной. Иная бы тихо, тайно проверилась. Ха-ха-ха! Неужели ты не боишься, ведь я могу побить за подобный подарочек?

— Ты не можешь. Ты побоишься Бога.

Остальное — плевать! Поймал я иммунодефицит от нее, что там за ответственность перед дальнейшим? Умиляло, даже поднимало женщину в моих глазах такое наивно-простодушное и открытое отношение к миру. Человек заботится только о себе, так уж повелось. А я не опасен, потому что глуп. Я поцеловал ее, успокоил. Улегся с нею в еще теплую постельку, потешились аккуратно до того момента, когда в игре кричат: горячо! — и расстались. Я на работу, она продолжала нежиться и бояться хворей.

И в шалаше рай не вечен. Кошачью хибарку отремонтировали. Я перевез мать с дочерью и настроился отоспаться. Поклонился.

— Как мы дозимуюем без тебя? — Это она.

— Я понимаю этот вопрос риторически.

— Да нет. Слушай, говорю не продуманно, только сейчас пришло в голову. Переезжай к нам.

— Великолепный эксперимент!

— Ты все риторически, а я рассчитала. Потратился на ремонт, теперь будешь платить хозяйке. В твои годы пора быть экономным.

— Спасибо за напоминание о возрасте.

— Я не в обиду будь сказано. У нас, помимо дивана, есть раскидное кресло. Как-то уместисься.

— Помимо кресла, в котором как-то умещусь, чтобы переехать, нужно еще кое-что.

— В шкафу места для твоего пальто достаточно. Ниша еще есть, пустая, только вымыть.

— Я подразумеваю... несколько шире.

— Я же предлагаю не на совсем. Как только захочешь, уедешь.

Для двадцати четырех дней на курорте Надежда Леонидовна — незаменимая женщина. Выглядит десятиклас-сницей, чистая, с вот такой незаурядной логикой и незащищенностью. Но я ведь на работе. Я не нанимался еще на полставки... И старше я, лет на десять — двенадцать, а душой так на все тридцать старше.

В глубине, у промерзшего окна стояла Кира, вряд ли она слышала, о чем просит мать. А я думаю: для этой хорошеющей на глазах девчурки мое покровительство ох как пригодилось бы. По инерции упираюсь:

— Я буду помогать издали.

— Это не то. Хандре не поможешь издали.

Девочка отвернулась к узорам на стекле, ткнула пальцем в кожух из инея. Мне ее мизансцена показалась выразительной. Она выглядит убитой, и все оттого, что ведет себя не надуманно, не для других.

— Послушай, Надежда, я весь в долгах. Дала бы мне растрясись.

— Растрясемся вместе.

Внешне я выгляжу внушительно, внутренне

же, по всем чертам, которые я, карьеры ради, припрятаваю, я простак. Никогда меня не просила женщина, я убежден, что это не мой удел и не мое счастье. Теперь просит. И у стекла, забранного в холодный узор, стоит не кто иной, а Кира... Я люблю своего сына, он подросток, вопреки воле родителей женился несовершеннолетним, холодно простился и уехал в столицу, чтобы не жить в такой нищете, как живем мы. Такое было его твердое заявление. Учится в престижном вузе иностранным языкам на дневном факультете, вечером занимается в высшей экономической школе, ночью дежурит вахтером и дворником, не пишет, не звонит, при редких встречах подчеркивает, что ни в чем не терпит нужды. А я не могу, когда во мне не нуждаются.

— Ты серьезно? — спрашиваю у Надежды Леонидовны.

— Хочешь, чтобы я заплакала? Знаешь мои нервы...

— Завари пустырник.

— А что ты думаешь? Уйдешь, придется глотать, долго глотать.

Тут в игру был брошен главный козырь:

— Кирочка, пригласи дядю к нам на квартиру.

Кирочка отлепилась от инея, провела рукой по бархатистым листам азалии и нерешительным, балетным шагом подошла. Сильно вывернула



глазенки снизу вверх, на меня:

— Вам там плохо?

До подобной мысли я не додумался. Было ли мне там плохо? Наверное, было неважно, раз на рассвете ехал через весь город, чтобы попотчевать чужую семью молочком и сметаной.

— Ну не так хорошо, как у вас.

Она больше ничего не говорила. Опустила веки, накрыла длинными черными ресницами тонкие, словно подкрашенные, щечки и ждала. Я не помню, произносил я какие-то слова или нет, но мучить ребенка, заставляя просить только потому, что я пентюх, не мог.

Надежда Леонидовна не скрывала на службе, что лечится от всех болезней, какие только поименованы в медицинской энциклопедии, про которые трубят по радио, шепчутся сосуди... С этим не спорили, даже смирились. Мытьем и катаньем, несмотря на утешительные анализы, она добилась разрешения обследоваться в столичной клинике. С месячным пребыванием при больнице. Это был праздник, ее фобия получила признание, женщина ехала по-настоящему лечиться! На кого оставить дочку, где взять средства на дорогу? — такими пошленькими вопросами она не задавалась. Есть профсоюз, есть я.

Ритм моей жизни уплотнился. С рассветом я бегал в магазин, к молочнице, на рынок; после

планерок, летучек, репетиций бежал к школе, благо рядом была, кормил Киру обедами на свой страх и риск; отводил ее, в соответствии с расписанием, то к таперше, то в танцевальную студию. Вечером грел воду, готовил ужины, завтраки. Если закручивался в водовороте программ, не мог выйти из павильона студии, уговаривал ассистентку или журналистку привести и накормить ребенка, тем самым попадая в зависимость, чего сильно боялся на службе. Кира принимала ухаживания как должное. Характер!

...Несмотря на неспособность врачей установить диагноз ее хвори и коварно безукоризненные анализы, Надежда Леонидовна оставалась верной устоявшимся привычкам лечиться от всего, от чего только есть возможность лечиться. И год спустя, и два года спустя она в середине весны пригорюнивалась и задавала вопрос:

— Куда поедем оздоравливаться в это лето?

— Летом я хотел бы наняться в театр, во время гастролей поставить спектакль и вернуть долги гонораром.

— А отдыхать когда?

— По воскресеньям.

— А мне бы в Кисловодск. Укрепить сердечко.

Были варианты: донимает желудок — нужны

Ессентуки, беспокоят косточки — куда-нибудь на грязи. Болезни разные, но для оздоровления выбиралась пора самая аристократическая, а курорты самые модные.

Лишь много лет спустя я осмыслил такую ситуацию. Получив путевку на Кавказ или в Крым, супруга оживала отлета и, как бы, неожиданно пугалась:

— По-моему я подхватила...

Щелкала семечки, пробовала кисленькое, сторонилась меня, невинно шептала:

— Боюсь, моя дорожка не на курорт, а на аборт.

Я отшучивался, мол, отчего подхватила, от сырости?

Возвращалась веселенькой, про страхи забывала. А перед новой поездкой коллизия повторялась без вариантов.

Мы оставались с Кирой. Кончались деньги, вспарывали черствые брикеты, вскрывали консервные банки со стажем. Жевали самоотверженно.

Что плыло мимо и могло свернуть к нам, Надежда Леонидовна замечала издали и не упускала. В заурядный серенький выходной она красиво уселась на диване — одна ножка под себя, другая, голенькая выше колена, спущена к коврику, — и позвала: